

*На каждом человеке
лежит отблеск истории.*

Юрий Трифонов

КАЛАЧЕЕВСКАЯ НОЧЬ

В пятницу семнадцатого марта одна тысяча девятьсот девяносто пятого года померла в Нижнедевицке моя мама. Пелагия Михайловна Санжаровская, в девичестве Долженкова.

На похоронах меня поразили своей поэтичностью причитания-плачи ее родной сестры Нюры.

Тетя посулилась списать на бумажку свои слова.

Да не списала.

Ждал-пождал я в Москве с полгода и, так и не дождавшись обещанного, сам поехал в августе к тете Нюре Кравцовой за Воронеж, в степной, сомлелый на солнце-пеке городишко Калач.

А под боком у Калача жила Новая Криуша. Отцово родовое гнездо. Столица нашей семьи...

Воронежский поезд приплелся в Калач уже в сумерках.

Весело выглядываю из тамбура. Улицы не убраны в кумач. Ни знамен, ни гир-

лянд. На перроне нет духового оркестра. Ни заваливающей ковровой дорожки, ни тетушки.

Никто меня не встречает?

Гм... Куда же мне одному шлепать в ночь?

У меня ж здесь ни одной знакомой души кроме тети...

Хотя...

От вагонных ступенек тихая грусть повела меня в тупичок. «Толик... Толик... — позвал я тихонько себя из далекого теплого лета пятьдесят шестого. — Ты чего молчишь? Ты же здесь... Слышишь?.. Ты же давно здесь... С той самой поры... Напомнить? Тогда ты впервые поехал один на поезде к бабушке. Сюда, в Калач, а потом в Собацкий. И мама тебе все наказывала не спать в поезде. Ты все удивлялся, почему это не спать? Заснешь, украдут шо-нэбудь, пострадала мама. Но красть было нечего. У тебя была лишь маленькая фанерная балетка и та пустая. А ты все одно не спи, — стояла на своем мама... И ты пообещал, что не будешь в поезде спать.

До самых Лисок крепился. Не спал. А как сел в Лисках на третий уже за всю твою дорогу поезд, так и заснул на самой верхней третьей полке. В Калаче весь народишко высыпался из вагона. Ты не слышал. И состав слился в тупик. Тут, в тупичке, ты проснулся от тишины, выпрыгнул в окно и побежал к вокзалу. А оттуда уже автобусом к бабушке, в хуторок Собацкий. С той поры ты остался в Калаче. Семнадцатилетний. В веснушках. Сильный... Отзовись... Помоги мне, старику... Не молчи...»

Но тот Толик, из молодости, не откликнулся, и я, поталкиваемый в спину теплым неунывающим ветром, побрел по шпалам назад к тусклым огням вокзала.

Незнамо как я оказался в автобусе и очнулся, когда ко мне подошла кондукторша с билетной сумкой на груди:

— Вам куда ехать, мил гостюшка? — спросила она.

Я пробормотал теткину улицу.

— Так туда автобусы уже не бегают. Поздно... Переедете с нами через мост и выходите. Мы поедем прямо. А вы идите у левую руку... Малехо пройдете по асфальту. А там еще свернете в левый бок...

Я шел и час, и два...

Все было черно. Куда я мог сворачивать?

Смотрю, где-то уж очень далеко замерцали тоскливые огоньки.

Я засомневался, что это еще городок Калач, и, постояв, подумав, пошарачился назад.

Вернулся к той развилке, где выходил из автобуса.

В бетонной плите стоял дорожный указатель.

Я так-таки и в темноте прочитал белые буквы.

Они складывались в Манино.

Манино! В этом селе жила до замужества бабушка по маминой линии. Мне стало как-то хорошо, будто попал в гости к своим. Я достал из портфеля огрызок колбасы, ломоть черного хлеба и, присев на холодный бетон, принялся есть. Портфель скоро опустел. Больше из него ничего не достать.

Что же дальше?

Искать гостиницу?

И я поплелся за мост в слепой, темный городок.

Невесть откуда из черноты ко мне вырезался пьяный в корягу мужик и, еле ворочая ватным языком, потребовал:

— Д-дай в з-з-зубы, чтобы дым пошел!
— Не дам. Не курец я.
— Тогда вып-пить подавай!
— И тут жирный прочерк.
— Кончай попусту греметь крышкой. Не то я тебе рог сшибу!
— И рога у меня нет, — грустно хохотнул я и побрел дальше.
— Что ж, думаешь, если под балдой, так дурее пьяного ежика?.. Найду рог! — погрозились он и затих.

Я брел по темноте, и тяжелые мысли бередили душу. Как же так получилось, что я потерялся, заблудился посреди России? У себя на Родине! Не здесь ли мои корни? Не здесь ли мой Дом?.. Дом моей крови?.. Дом моей души?..

Тогда почему я блуждаю один по этой черной ночи?

Я кое-как разыскал гостиничку. Обветшалая, в один этажишко, она пропаще спала за дощатым глухим забором. Постучал в закрытую калитку. Собака с лаем вылилась из-под ворот, и я еле отбился от нее. В гостинице не было огня. Все спало.

Кому я здесь нужен?

Поторчал-поторчал у ворот и потащился на свет. Это был телеграф. Дверь размахнута нараспашку. Я вошел и прилип на краешке скамейки у обшарпанного стола.

— Вы, случайно, не Москву ждете? — спросила из окошка молоденькая телеграфистка.

— Не Москву...

— А чего тогда ждете?

— Рассвета.

— А-а...

Она ушла. А я, подложив под голову кепку, лег на лавку у стены, закрывшись газетой от яркого света большой и голой, без абажура, лампы.

Лежал и с горечью вспоминал свои отгорелые дни...

ЖИТЕЛИ ТЮРЬМЫ

Первое, что я ясно помню из детства, это как под гнилыми, малярийными грузинскими дождями родители корчевали на косогорах леса.

Разводили в совхозе-колонии «Насакиральский» чайные плантации.

В этот рабский совхоз-каторгу сгоняли одних репрессированных высленцев да вербованных. Сначала мы куковали на первом районе (отделении) совхоза.

Потом, сразу после войны, всех рабочих отсюда пораскидали по остальным четырем. Нашу семью перевезли на арбе на пятый район. По пути завезли в центр совхоза — в баню. Она была в овраге. Там от вшей прожарили одежду и постельное белье наше, и мы в первый раз вымылись по-настоящему. А так обычно мылись, конечно, дома в корыте или в тазике. В войну и еще в долгие годы после ее окончания мыла в доме не было. Его заменяла печная зола. Мама насыпала золу в какую-нибудь тряпицу, опускала зольный комок в тазик с горячей водой. Зола «давала сок» — вода мутнела. В этой щелочной воде и мылись.

Потом мы уехали из первого района, и там, в бывших наших гнилых бараках, разместили... колонию. Мы и не подозревали, что шиковали в тюремных апартаментах.

Жили горько.

За все детство я видел несколько крохотных газетных кулечков с дешевыми конфетами-подушечками. И сахар был в большую редкость. Сахар у нас постоянно был только в нашей моче. «Живой сахар». Этим «живым сахаром» мы, пацанва, орошали яблочные пупырышки. Яблоня росла вприжим к нашему барачному окну. С подоконника мы рвали горькие пупырышки, обдавали своим теплым «живым сахаром», яблочки становились не такими горькими, и мы их ели.

Только в восемнадцать лет я впервые увидел сливочное масло и то лишь тогда, когда беда прижала к больничной койке.

Отец погиб на фронте. Мама осталась одна с тремя сыновьями. Когда отец уходил на фронт, мама была беременна дочкой Машей. Маша умерла, не дожив и до года.

С темна до темна, без выходных мама ломила на чаю. А по ночам рыла оградительные окопы: мы жили в прифронтовой полосе. И получала за каторжную работу горькие гроши.

Держались в основном домашним хозяйством.

Господин Огород. Огород — наша кладовка.

Козы. Куры. Поросяенок.

Все это было на нас, на детей. На мужичках.

Весна. Надо натаскать на глинистые бесплодные огороды побольше навозу. А огороды за полторы-две версты на неудобьях, в крутых оврагах, куда чай не воткнешь. Только бросовые клочки земли и позволяли занимать под огороды. Вприбежку тащишь неподъемный чувал с навозом, а по тебе течет черная жижа; несешься по дороге из стороны в сторону. Мешок с навозом тебя ведет! А остановиться передохнуть боишься. Мешок потом не подымешь.

Притащишь, спустишься на корточки, тихонько вальнешься назад, не отрывая от спины мешка, и лежишь, отпыхиваешься на нем, выкупанный потом и навозной жижей.

А сеять кукурузу, сажать под лопату картошку... Казалось все это самым легким и веселым. А окучивать, пропальывать... Курорт! Канары перемешку с голубыми Багамами!

Осень-припасиха изматывала нас до смерти. Кукурузу, картошку, кабаки — все перетаскай на своем горбу.

А дрова на зиму? Лес еще дальше огородов...

Мы, ребятня, сами лепили козам сарай. И каждую осень обязательно перекрывали его кугой, обмазывали хворостяные стены глиной, утепляли папоротником. Чтоб не мерзли наши козушки в холод! И из бросовых досточек-лоскутков лепили вдоль стен на коротких столбиках широкие лавки козам для отдыха.

— Коза, — уважительно говорила мама, — для нас же, для дураков, старается как! Поки за день набирает по горам молока повну банку — ноги с усталости отваливаются. Надо ей по-людски за ночь выспаться, ай не надо?

И вот огороды пусты. Сарай в тепле. Дрова натасканы. Гордой горюшкой высятся между нашим сараем и соседским плетнем Шаблицких.

Чем заниматься после школы? Уроками?

Не-ет...

Такой царской роскоши мы не знали. Наскоро похлебаешь какой-нибудь холодной баланды и бегом после школы к мамушке на чайную плантацию. Собирали чай, формовали чайные кусты секаторами, копали чайные междурядья, тохали (мотыжили) их, чистили тунг...

Плоды тунга чуть мельче кулака, созревшие в кучах под дождем и снегом, зимой мы притаскивали в корзинках домой. Вываливали эту вонь посреди комнаты, и вся семья с утра до ночи колупалась в грязи, выше-лушивала из скорлупы зерна величиной с голубиное яйцо.

Весь этот тяжкий труд детей — какой-никакой доварок к маминому копеечному заработку. Надо ж и учебники купить. Надо ж и грешный зад прикрыть чем...

С чаю приползали усталые уже в потемочках. Пока уберемся с живностью (я часто помогал маме доить коз), пока то плюс се — мало ль всякой беготни по дому? — уже полночь.

Вот и прикатило время садиться за уроки.

Комната у нас на четверых была всегда одна. (А до войны, когда жив был отец, нас было пятеро.) Сначала в бараках с плетеными хворостом стенами, обмазанными глиной и побеленными, потом в новом, в один этаж каменном доме. Всегда одна. Все тут же уже спят под сильной голой лампой. А ты готовишься к завтрашней школе. Не заметишь, и сам уронишь голову на единственный — он и обеденный, он и учебный, — стол и мигом отрубисься.

Мама проснется и увидит, мягко шатнет за плечо:

— Иди, сынок, раздевайся та ложись...

А чаще бывало так: что подремал на раскрытом учебнике, то и весь твой сон. Мама качнет за плечо. Ты вскопишь и быстрее раздеваться на бегу к койке. А она горько улыбается:

— Не, сыно, тоби треба зовсім у другу сторону... — И показывает на дверь: за окном уже разлило свет дня. — Надо собираться у школу.

Школа для нас была всегда большим праздником. И вовсе не потому, что там что-то клали нам в голову. Вовсе по другой причине. В школе мы могли за полдня хоть малехонько отдышаться от домашней каторги.

И даже вздремнешь когда на уроке — все отдохновение!

ПАСТУШОНОК

Сижу я на уроке. А голос учителя забивают жалобные плачи коз и козлят. Я был самый младший в семье. Братишки Гриша и Митя жалели меня, доверяли самое легкое — пасти козлят и коз. И я пас лет с четырех и до окончания начальных классов. После я делал всякую работу, что и они. А пока отвечал только за козье пропитание. Покуда я прохлаждался в школе, козки мои в плаче голодно покрикивали под крючком в сарае. Все звали меня.

Мы жили в пятом районе совхоза «Насакиральский». А школа была в центре. Туда мне идти четыре километра. А назад уже бежал. Нигде не задерживался.

Добросовестный был я пастушок. До самой ночи бродишь с табунком по кручам-оврагам, пока не раздуются, щипая траву, мои рогастики, как бочки. Идут назад, еле ноги переставляют. Ох-ох, ох-ох... Тяжело-о...

А у самой дороги зеленел чайный участок тети Насты Сербиной, маминой товарки. Как-то раз тетя Настя горестно посмотрела из-под зеленого пука чайнок в кулаке и говорит мне:

— Что ж у тебя, пастух, козы с пастьбы еле бредут в голодухе? Смотрите, бока позападали!

— Вы не на те бока смотрите! — кричу я чуть не плача. — Вы что?.. Не знаете, что у коз один бок всегда немноженько пустой!? С ямочкой! Зато друго-ой!..

И круто заворачиваю стадушко.

Гоню назад мимо тети Насти.

— Смотрите! Смотрите! Те бока были неправильные! А эти... Вот! Со всем полные-располные бочищи!

— Теперь вижу. Полные. Гарно напас. Молодэц!

И я затих в гордости...

После этого случая стал я стесняться тети Насти. Бывало, во всяк вечер, как гонишь мимо ее участка стадо из лесу, угинаешь голову.

А они с дядей Петей бросят рвать чай и ну нахваливать дуэтом:

— Молодэц пастушонок! Гарно напас коз... Боки полнюхи...

А ты со стыда еще круче утягиваешь голову в плечи. «То с одной стороны полные. А на другом боку наверху у всех ямки. Господи! Неужели им лень так наесться, чтоб не было ямок? И все б горюшко!»

Однажды разгромный дождь напал на меня с моим рогатым табунком. Бежим домой. А тетя Настя пережидала беду под придорожной елкой. Увидала меня. Зовет:

— Скорей-ка сюда, вихревейка! Я закрою тебя от дождя. Ты ж весь мокрей воды! У тебя, може, ну тилькэ под мышками и сухо!

Она встречно распахнула полы большого старого пиджака. И я с разбегу влетел в ее тепло, как в жаркую комнату.

Я плотно прижался к ней спиной.

Два теплых бугорка мягко обняли меня за плечи.

Она застегнула свой пиджак у меня на животе. Я выглядывал из ее пиджака, как цыпленок из сумки.

Погладила меня по мокрой руке.

— Маленький пастушонок... Совсем мокренький... Совсем холодненький...

И заплакала.

Начальную школу я кончил с отличием. Меня даже сфотографировали на школьную доску. Почет тебе, дорогуша!..

КУРЯКА

Избирательность памяти коварна.

Не помню я ни лица, ни имени учительницы, научившей читать, писать. Зато расхорошо помню другого своего первого «учителя». По курению. Точно вчера с его урока.

Васька!

Лохматый двадцатилетний лешак. Таскал и в лето, и в зиму неизменно по две фуфайки. Всаживал одну в другую. Как матрешки. И круглый год бегал в малахае. Это-то на Кавказе!

Васька был большой бугор (начальник). А я маленький. Васька пас коз, я пас козлят. С мая по сентябрь, конечно. В каникулы. В рабочей обстановке мы не могли встречаться, хотя производственная необходимость в том и была. Сбежись наши стада, это чревато... Вернутся козы домой без молока. У Васькиных коз и у моих козлят были прямые родственные связи. Как говорил Васька, это была кругом сплетенная родня.

Однако в обед, когда наши табунки порознь дремали в прохладе придорожных елок, мы с Васькой сходились на бугре. Третьим из начальства был Пинок, важный Васькин пес с добрым лицом. Всегда держался он справа от Васьки. Был его правой рукой.

Козы были по одну сторону бугра, козлята по другую. Они не видели друг друга. Зато мы с Васькой видели и тех, и других. У хорошего пастуха четыре глаза! И если уж они паче чаяния кинутся на сближение, им другого пути нет, как только через наши трупы.

Ну, разве мы допустим их воссоединения?

И вот однажды в один из таких обеденных перерывов — было это в воскресенье тринадцатого июля 1952 года — мы сошлись. Запив полбуханки глиноподобного кукурузного хлеба литром кипяченого молока из зеленой бутылки, посоловельый Васька — а было так парко, что, казалось, плавилься мозги, — разморено вставил себе на десерт в угол губ папироску. С небрежным великодушием подал и мне.

Я в страхе попятился. Спрятал руки за спину.

— Ты чего? — удивился Васька. — Кто от царского угощенья отпрыгивает по воскресеньям?

— Я не к-кур-рю... — проямлил я оправдательно.

— А-а! — разочарованно присвистнул Васька. — Вон оно что! Мамкин сосунчик! Долго ж тебя с грудного довольства не спихивают. Сколько тебе?

— Тринадцать.

— Уже все тринадцать! — Васька в панике покачал головой. — Какой ужас!.. Во! — Васька щелкнул пальцем по газете, в которую был завернут оставшийся после обеда шмат чахоточно-желтого кукурузного хлеба кирпичиком. — Вон шестилетний индонезийский шкет Алди Ризал в день выкуривает по сорок сигаретин! Учись! О мужик! А ты?.. Тоскливый ты кисляй...

Васька лениво мазнул меня пальцем по губам.

Брезгливо осмотрел подушечку пальца. Вытер о штаны.

— Мда-а... Молочко еще не обсохло. Мажется, — трагически констатировал он. — Несчастный сосунчик!

Это меня добило. Я, молча, с вызовом кинул ему раскрытую руку. Он, так же молча и державно, вложил в нее «ракетину».

— Хвалю Серка за обычай. Хоть не везет, дак ржет! — надвое выпалил Васька.

Что он хотел этим сказать? Что я, дав вспышку, так и не закурю? Я закурил. Судорожно затянулся во всю ивановскую. Проглотил. И дым из меня повалил не только из глаз и ушей, но и изо всех прочих щелей. Я закашлялся со слезами. Во рту задрало. Точно шваброй.

— Начало полдела скачало! Все пучком! — торжественно объявил Васька и мягко, певуче вразумил: — Всякое ученье горько, да плоды его сладки...

— Когда же будет сладко? — сквозь слезы просипел я.

— Попозжей, милок, попозжей, — отечески нежно зажурчал его голос. — Не торопи лошадок... Надо когда-то и начинать... А то ты и так сильно припоздал. У меня вона куревой стаж ого-го каковущий! Я, говорила упокойница мать, пошел смоктать табачную соску еще в пеленках. Раз с козьей ножкой уснул. Пеленки дали королевского огня. Еле спасли меня... Кто б им тепере и пас коз?.. А вызывали, — Васька энергично ткнул пальцем в небо, — пожарку из самого из центра! Жалко... С пеленками успел сгореть весь дом, а за компанию и два соседних.

Его героическое прошлое набавило мне цены в моих собственных глазах.

Я угорело зачадил, как весь паровозный парк страны, сведенный воедино.

— Это несмыслаемый позор, — корил Васька, любя меня с каждой минутой, похоже, все круче, все шальней. — В тринадцать не курить! Когда ж мужиком будем становиться? А? В полста? Иль когда вперед лаптями понесут? И вообще, — мечтательно произнес он, эффектно отставив в сторону руку с папиросой, — человек с папиросиной — уважаемый человек! Кум королю, государю — дядя!.. Человека с папироской даже сам комар уважает. Не нападает. За своего держит! Так что кури! Можь, с куренья веснушки сойдут да нос перестанет лупиться иль рыжины в волосе посбавится... Можь, еще и подправишься... А то дохлый, как жадность. Вида никакого. Так хоть дыми. Пускай от тебя «Ракетой» воняет да мужиком! — благословил он.

А я тем временем уже не мог остановиться. Прикуривал папиросу от папиросы. Васька в изумлении приоткрыл рот. Уставился на меня не мигая.

— Иль ты ешь их без хлеба? — наконец пробубнил он.

Он не знал, то ли радоваться, то ли печалиться этаковской моей прыти.

Вскоре у меня закружилась голова.

Затем, еще после трех-четырех глубоких затяжек, я упал в обморок.

Васька отхлестал меня по щекам. Я очнулся и... попросил курева.

— Хвалю барбоса за хватку! — ударил он в землю шапкой. — Курнуть так курнуть, так чтобы уж рога в землю!

До смерточки тянуло курить.

Едва отдохнул от одной папиросы, наваливался на новую. Мой взвигреный энтузиазм всполошил Ваську.

— Однако... Погляжу, лихой ты работничек из миски ложкой. Особо ежли миска чужая...

Не знаю, чем бы кончился тот первый перекур, не поднимись козы. Пора было разбежаться.

— Ну... Чем даром сидеть, лучше попусту ходить. — Васька усмехнулся, сунул мне пачку «Ракеты». — Получай первый аванец. Ребятишкам на молочишко, старику на табачишко!

Пачки мне не хватило не то что до следующего обеда — ее в час не стало.

На другой день Васеня дал еще.

— Бери да помни: рука руку моет, обе хотят белы быть. Ежель что, подсобляй мне тож чем спонадобится.

Я быстро кивнул.

Каждый день в обед Васеня вручал мне новую пачку. Так длилось ровно месяц. И любня — разохлась! Я прирученно подлетел к Васене с загодя раскрытой гробиком ладошкой за божьей милостынькой. Васеня хлопнул по вытянутой руке моей. Кривясь, откинул ее в сторону и лениво повесил кукишем.

— На тебе, Тольчик, дулю из Мартынова сада да забудь меня. Ну ты и хвостопад¹! Разоритель! Все! Песец тебе!.. Испытательный месячину выдержал на молодца. Че еще?..

— Чирей на плечо! — хохотнул я.

— Перетопчешься! Ноне я ссаживаю тебя со своего дыма... Самому нечего вота соснуть. Да и... Под какой интерес таскай я всякому сонному

¹ Х в о с т о п а д — человек, который любит за чужой счет поживиться и развлечься.

и встречному? Кто ты мне? Ну? — Он опало махнул рукой. — Так, девятой курице десятое яйцо... Я главно сделал. Наставил на истинно мужеский путь. Мужика в тебе разбудил... Разгон дал! Так ты и катись. Добывай теперь курево сам!

Этот его выбрык выбил меня из рассудка.

— Василек!.. Не на что покупать... — разбито прошептал я.

— А мне какая печалька, что у тебя пустой карман? Меня такие вещи не прокатывают! Крути мозгой. Не замоча рук, не умоешься... Ты про бычарики² слыхал?

Стрелять окурки у знакомых я боялся. Еще дошуршит до матери. Стыда, стыда... К наезжим незнакомцам подходить не решался. Да и откуда было особо взяться незнакомцам в нашей горной глуши?

А подбирать чужие грязные обкурки... Ой, и не царское ж это дело, Никифорович! Не получив от Васьки новой пачки, я в знак вызова — перед гибелью козы бодаются! — двинул зачем-то козлят в обед домой. В наш поселочек в три каменных недоскреба.

Уже посреди поселка мне встретилаcь мама. Бежала к магазинчику Сандро за хлебом.

Я навязал ей козлят. А сам бросился в лавку.

Радость затопила душу. В первый раз сам куплю! Накурюсь на тыщу лет вперед! Про запас!

На бегу — в ту пору я всегда бегал, не мог ходить спокойным шагом — сделал козу — замытую дождями старой записке на двери «*Пашол пакушать сацыви в сасетки. Жды. Нэ шюми. Сандро.*» — и ветром влетел в лавку.

Денег тика-в-тику. На буханку хлеба да на полную пачку «Ракеты».

Сандро в раздумье выпустил из себя дымный комок и, слышав от меня о «Ракете», жертвенно свел руки на груди. Из правой руки у него бело свисал, едва не втыкался в прилавок, длинный тонкий, съеденный хлебом нож, похожий на шашку. Этим ножом Сандро резал хлеб, который продавал.

— Вах! Вах!.. — сломленно изумился Сандро и забыл про папиросу в углу губ. — Ти, — он наставил на меня нож, — хочу кури?.. Кацо, ти слаби... Муха чихай — ти падай!.. Тбе кури не можно... От кури серсе боли-и, — опало поднес руку с ножом к сердцу. — Почка боли-и, — болезненно погладил бок, — голова боли-и, — обхватил голову, в стоне пошатал. — Любофа... Дэвочка нэ хачу... Нэ нада блызко... Нэ нада далэко...

Сандро свирепо сшиб ногтем мизинца шапку нагара с папиросины. Яростно воткнул ее снова в рот.

— Вот ти на школ отлишник... Истори знай... Полтици лэт назад в Англии и в Турции курцам дэлали «усекновение головы». Простими словами — башка долой к чертовой маме! На Россия курцов учили палками. Нэ помогало кому — смэртни казн добавляли. И луди всё бил крепки, всё бил здорови. Дуб! Дуб!! Дуб всё!!!.. И пришла на цар Пэтре Пэрви... Покатался по Европэ да превратился в заядли курилищик. Пэтре позвала мужик. Сказал: «Кури! Нэ будишь кури — давай башка съюда мнэ! — Сандро ласково поманил пальцем, позвал: — Дурной башка секир буди делат!» И всё сразу кури-и-и, кури-и-и... Сонсе за дим пропал!.. Сама Пэтре много кури-и-и-и, кури-и-и... Сама Пэтре от кури тожэ на Мелекедур пошла... — скорбно сложил руки, как у покойника. — А бил Пэтре... —

² Б ы ч а р и к — окурок.

Сандро с гурийским неуправляемым темпераментом зверовато прорычал, размахнул руки на весь магазин, показывая, какие разогромные были у Петра плечищи; угрозливо рыкнул еще, вскинул руки под потолок, — экий махина был Петр! И сожалеюще, пропаще добавил: — А табак секир башка делал Пэтре! Нэ смотрел, што на цар бил...

Сандро помолчал и убежденно закончил свою речь, воздев в торжестве указательный палец:

— Табак силней на царя!

С минуту простояв в такой монументальной позе, Сандро твердо, основательно пронес белый нож туда-сюда в непосредственной близости от моего носа, медленно, злобно пуская слова сквозь редкие и желтые от курения зубы:

— Нэт, дорогой мой, поэтому ти «Ракэт» нэ получишь. «Ракэт» я отпускаю толко лебедям... Двойешникам. У них ум нэту, на них паршиви «Ракэт» не жалко. На тбе паршиви «Ракэт» жалко. Ти отлишник. У тбе чисты ум. Ти настояшши син Капказа! Син Капказа кури толко «Казбеги»!

Вот тебе раз! Мне казалось, что я вселенское горькое горе своих родителей. А выходит, я «сын Кавказа» и должен курить только «Казбек»! Черт возьми, нужен мне этот дорогущий «Казбек», как зайцу махорка! Но выше Сандро не прыгнешь. И вместо целой пачки найдешевейшей, наизлейшей «Ракеты» он по-княжьби подал мне единственную папирсину из казбекского замеса.

Чтобы никто из стоявших за мной не видел, я обиженно толкнул папиросу в пазуху и дал козла. Быстрей ракеты домой. Только шишки веют.

Папираса размялась. Я склеил ее слюной. Бухнулся на колени, воткнул голову в печку и чумово задымил. С минуты на минуту нагрянёт маманя с водой из криницы в каштановом яру. Надо успеть выкурить!

Едва отпустил я последнюю затяжку — бледная мама вскакивает с полным по края ведром.

— А я вся выпужалась у смерть... Дывлюсь, дым из нашой трубы. Я налетом и чесани. Заливать!

Она обмякло усмехнулась. С нарочитой серьезностью спросила:

— Ты тута, парубоче, не горить?

Я сосредоточенно оглядел себя со всех сторон. Дернул плечом:

— Да вроде пока нет...

Мамушка смешанно вслух подумала:

— Откуда дыму взятсья? Печка ж не топится...

И только тут она замечает, что я стою перед печкой на коленях.

— А ты, — недоумеваает, — чего печке кланяешсья?

— Да-а, — выворачиваюсь, — я тоже засек дымок... Вотушки смотрю...

Мама нахмурилась. Подозрительно понюхала воздух.

— А что это от тебя, як от табашного цапа, несет? — выстрожилась она.

— Так я, кажется, козлят пасу. А не розы собираю...

Еле отмазался.

А как же дальше?

Переходить на подножный корм? Подбирать топтанные басики³? Грубо и пошло. Не по чину для «сина Капказа». Покупать? А на какие шиши?

³ Топтанный басик — окуроч, подобранный с земли.

А впрочем...

Я не какой-нибудь там лодырит. Не кручу собакам хвосты, не сбиваю баклуши. В лето хожу за козлятами. За своими, за соседскими. Соседи кой-какую монетку отстегивают за то матери. Могу я часть своего заработка пустить на свои нужды?

«Ракетой» я б еще с грехом пополам подпер свое шаткое мужское достоинство, будь оно неладно. И зачем только раскопал его во мне преподобный Василечек? А на «Казбек» я не вытяну. Да и как тянуть? Из кого тянуть? Нас у матери трое. Каждая копейка загодя к делу пристроена. Каждая аршинным гвоздем к своему месту приколочена. Ни Митюшок, ни Гришона не курят. Они-то постарше. Отец вон на войну пошел, погиб, а тоже не курил. А что же я?

Папироска из пачки с джигитом в папахе и бурке была последняя в моей жизни. Была она ароматная, солидная. Действительно, когда курил ее, чувствовал себя на полголовы выше.

Страшно допирала, припекала тяга к табаку. Однако еще сильнее боялся я расстроить, огневить матушку, братьев.

Во мне таки достало силы не нагнуться к земле за бычком. Достало силы не кинуться с рукой к встречному курцу.

С тех пор так больше и не закурил...

УТРО В КАЛАЧЕ

За мимолетными воспоминаниями детства быстро отлетела черная калачеевская ночь.

Уже плотно рассвело, когда вышел я из почты.

Уютный, смирный городок еще спал.

Калач...

Если смотреть сверху, он и впрямь на калач похож. Невесть откуда на безбрежной равнине вздыбился, будто хлеб при выпечке, невысокий холмок. На вершинке меловой карьер. Он припудривает все окрест. На склонах — дома, дома, дома. По-за дворами окраины, будто стыдясь шумливых улиц, тихонько льется сонливая речушка Подгорная.

Безмятежный русский городок.

Я бродил по сонным улочкам и ненароком выбрел к гостинице, где в ночь меня отогнал от ворот жестокий лай. И сейчас, снова оказавшись у знакомых ворот, я вздрогнул, когда из-под калитки ко мне степенно вылился пес. Я хотел было уже отскочить, да не успел. Пес, не спеша, солидно подошел ко мне и державно подал лапу.

Комок подступил к горлу, я пожал ее.

Он укорно посмотрел на меня, как бы говоря: «Человек ты вроде хороший. Да чего лезть к нам в ночь? Чего мешаешь покою?»

— Я тоже шел к покою...

Он зевнул:

«Так приходил бы раньше и я не шумел...»

Мало-помалу городок просыпался.

Редкие прохожие в поклоне здоровались со мной. С незнакомцем. Этот чудный русский обычай привечать незнакомца тронул меня. Я подумал, может, не такой уж я тут и чужак?

Кто ж чужой у себя на Родине?

На остановке мне охотно рассказали, как добраться до моей тетушки.

Подпылился мой автобус. Однако я не сел в него. Вдруг нарешил сперва заскочить в архив узнать, что ж такого известно о корнях нашего рода.

В администрации района архив ютился на первом этаже.

Я ожидал чего угодно, только не этих ледяных строк из черно-грязного пыльного талмуда о том, как нас в тридцатые годы кулачили. В Новой Кривуше было раскулачено 424 человека!

Но разве это полный «расход»? В одном лишь в тридцатом году был расстрелян 191 человек по «списку ликвидированных кулаков как класса по Ново-Кривушанскому сельсовету».

Основание: Ф. 20, Оп. 1, Д. 2, Лл. 10–13, 15–18, 23.

По «списку кулаков по Ново-Кривушанскому с/с по состоянию на 1 мая 1931 года значится 56 глав семей и 175 членов семьи».

Основание: Ф. 20, Оп. 1, Д. 5, Лл. 1–4.

И это лишь в одном-единственном селе!

А по стране?

На стук в калитку из сарайки выскочила тетушка.

Увидев меня, она на пол-Калача раскинула для объятий длинные крепкие мужицкие руки — была она высокая, костистая, какая-то громоздкая, и, качая головой, враспев затянула:

— Та хто ж цэ к нам приихав!?. Сам Толик! Ты ли, че ли! О дела!.. Та проходь! Проходь! Ты не к чужим приихав — к ридной тетке! Ты че не написав? Я б тебя встрела не у калитки. К самим к вагонным порожкам приибгла б с расписным половичком та с гармошкой!

— Как не написал? — опешил я. — Еще полмесяца назад!

— Хотешко...

Тетушка покосилась на ржавый почтовый ящичек на ветхой калитке и детски просияла:

— Та вон же оно в дырочки выглядае-смиеться!

Она открыла низ ящичка. Мое письмо в паутине выпало ей в блестящую от мотыги широкую ладонь.

— Мне никто не пише, — пожаловалась тетушка. — Я в ящичек и не загляду... Вот так у нас! Как мы по-стахановски молотим! Сначала встречаем. А потом получаем просьбицу встретить. Раньше письма встрела!

— Да-а... — усмехнулся я.

— А шо? Не совстрела? Я кого только шо обнимала-цилувала? Некупаного таракана соседского?.. Ну, покандехали⁴ у хатынку.

По тропке между грядками лука, чеснока, огурцов тащимся к халупке, откуда только что выпихнулась тетушка.

— Конешно, у меня не кремлевски хоромищи. Летний дождюху-таки переждать можно... Лиса вон под бороной дождь пережидала и никому не жаловалась.

— Лиса, если не в поле, так в лесу...

— А мы не в лесу? Люди — дрему-учий лес... Толкнут со скалы, а потом говорят — сама свалилась... Я баба здорова, и свою хаточку сама гандбила. Тогда я с Алешкой в разбеге була... Где шо выпросю, где шо бросове подберу... Я ни копейки в свою хатюшку не воткнула! Сама, как могла, слепила. Вотонько и царюю. Алешка назадки уже на готовенькое приполз...

⁴К а н д ё х а т ь — иди медленно.

На натурном свином жиру тетушка нажарила огромную сковородищу картошки. Жиру она так много положила, что картошка не жарилась, а варилась в нем.

— Ну, как там Москва? Шикует?

— Да-а...

— Зараз хоть шо из продуктов явилось... А то... Коммуняки за семьдесят годив зробылы нам полную голодную жизнь. Выкинут ли прелое пшено иля вонючую ливерку — очередяки, ну! Драки! Штурм Зимнего!.. Тилько шо без выстрела «Авроры»... Коммуняки думали, шо с лодырями та с мордохватами зроблють гарну жизнь. И не дотумкали своей бестолковой, шо «добро должно быть с кулаками... в крайнем случае, с середняками!»

За картошкой она прочитала мое письмо и кинула его на подоконник:

— Значит, Толик, за песнями приихав? Я и не знаю, шо те сказать... Я ж над покойником причитаю — сама не помню шо...

— Это как?

— Я и сама не знаю, откуда ко мне слова бегут. Они бегут на язык, спотыкаются. Я тильке успеваю прокрикиваю. А спроси минутой посля, я и не скажу, чего я выла-говорела...

— Вот маму хоронили... Вы дома, потом на машине, потом уже на кладбище причитали... Можете повторить? Я б записал...

— О, не! Прийшло и гэть ушло! В скрыньке, — она постучала себя тяжелым крюковатым пальцем по виску, — ничегошеньки не осталось. Пуста...

— Ну и... Тут песня пострашней...

Я достал из портфеля и отдал тетушке ворох бумаг.

Тетушка сразу же накинулась читать их вслух: «Архивная справка... в протоколе сельской избирательной комиссии при Новокриушанском сельсовете Калачеевского района Воронежской области от 21 октября 1934 года постановили лишить избирательных прав: 81. Санжаровский Никифор Андреевич — кулак, 82. Санжаровская Пелагея М. — жена кулака, 83. Санжаровский Андрей Дмитриевич — кулак, 84. Санжаровская Мария Андреевна — дочь кулака...»

Прочитала, горько покачала головой. Хотела что-то сказать, но я опередил ее слова:

— Протокол длинный. Смотрите следующие листы. Я сам выписывал...

— Горько все это читать... Ну, да шо ж, — и опустила глаза на новую выписку: «Значится: «Список военнообязанных, состоящих на учете тылового ополчения Н.Криушанского с/с (лишенцев): 5. Санжаровский Никифор Андреевич, родился 4 февраля 1908 года, место жительства Новая Криуша. Восстановлен в избирательных правах. (Пометка красным карандашом сделана после.)

Основание: фонд 20, опись 1, дело 5, листы 26, 28.

Молча тетушка немного передохнула, и унылая, скорбная читка продолжалась.

В спехе тетушка дочитала и облила меня пасмурно-благодарным светом.

— Ты слегчил мне душу... Теперько ты знаешь все, и мне ани нечего от тебя прятать...

— Как же так? — недоумевал я. — За всю жизнь мама даже не сказала, что нас кулачили. Почему она скрывала это от нас? От трех сынов своих?

— Раскулачили ваших и выкинули на спецпоселение на север за то, что ваши отказались вступать в колхоз. И это Поля скрывала не только от вас, от своих детей. Скрывала ото всех. Мне она сказала лише два года назад, як в последний раз гостювала у мене... Моя сестричка Поля хватила лиха через крайку... Не подай Господь такой жизниюки никому! В последнюю приездку все корила себя: «Одинокая, как палец... Дура! Дура я!» — «Да какава ж ты дура? — говорю. — Бесправная... В беспросветной нищете вытацила в люди три таких хлопца! Ну! Одна подыми!» — «Сады посохли, быки подохли, а я дурой осталась... Баба без мужика — кругом дура!»

— Про какие сады? Про каких быков речь, тетя Нюр?

— А-а... Она начотчо вам не говорела... За нею в Собацком уход нес один парубок... Махонин... Серега... Сбиралась за него... А тут выскочи на горизонтий Никифор. Батько ваш. Родительцы и погнались за Никишкой: «Там домяка якый! Царский! Быков четыре пары! Две лошади! Две коровы! Одна телега!.. Свои один плуг, одна борона... Земли одной надельной десять десятин да восемь арендной! Сады какие!.. Что его и гадать, жизнью уживете без сучка без раздоринки!» И свезли ее в Новую Криушу под венец с Никишей. А крутнулось — ни садов, ни быков, ни Никиши. Под свой венец увела Никишу война. А Махоня послая войны в царский чин впрыгнул. С тремя хуторскими классами целыми районищами рукой водил! Був аж *бредседателем* райисполкома...

Я не знал, что говорить.

А тетя продолжала:

— И наказала Поля, шоб я про раскулачку да про вашу высылку на Север та в Грузинию вам ниче не болтала. Ей сверху велели молчать. Расписки про то от нее с Никишей взяли... Почти всю жизнь промучилась на чужине... А чужина немилла, чужина без огня пече... Почти весь век душа в ярме... Шесть десятков лет в дрожи молчала!

— А зачем?

— А затем, шо она с Никифором щэ на Севере, в Ковде, дали подписание, шо никому не скажут и никто из них никогда и на миг не вернется сюда, в ридни места, у Нову Криушу иль у Собацкий. Колы була у мене, она вечерами выбегала в посадку и часами крадком выглядывала по-за деревьями на криушаньску дорогу... Зачем? А хто зна... Можь, просто кортелось глянуть хоть тайком на кого из Криуши? Та и шо там побачишь в ночи? И лише в последний наезд она насмелилась и ночью полем жимнула к Криуше. С бугра до первого света смотрела на свою Криушу. Криуша в низинке так, в долинке-ямке... Наревелась и полем, полем прибигла сестричка Поля назадки ко мне.

— Всю жизнь... Все 60 лет оттрястись в страхе... Сколько помню, я постоянно видел этот страх в ней. В печальных глазах вечно толклось ожидание беды. Теперь я понимаю, почему она даже запрещала записывать за нею всякие ее житейские истории. Боялась, что отнесу в КаГЭБерию!? Даже своего сына боялась! Как же так надо запугать человека!? Уже столько лет назад пала советская власть! СССР закрылся! Чего таиться?

— А советска власть... так припугнула, шо пускай ее уже и нэма, а и в гробу будешь от ее ласки дрожать. Хороша... хороша советска власть, тилько дуже довго длилась... Боялась сестричка Поля за вас. Боялась, как бы вам не утворили чего... Всю державу репрессиями гнали в коммунизм... Почитай за так в совхозе арабили... Беломорканал, Ростсельмаш... Кто строил? Репрессированные. Та чертова власть всю вашу семью переехала! Она як голодный волк. А волк шо наслюнит, то и отхватит да сло-

падет! Ох, беда... Беда, как полая вода. Польет — не удержишь... Смотри... Вот ваш батько... Какой ни «кулак», лишенец, а Родину защищал отважно. Рядовой, стрелок... И погиб он от немецкой пули? Да его голодом на войне задушили! С фронта с чем ваш батько загремел в госпиталь? С ожогом гудроном трех первых пальцев правой стопы! Ожог был второй степени. И разве он от ожога помер? От каких-то других ран? Болезней? «Умер от истощения»! Разве, — тряхнула она листком, — не тебе это ответил на твой запрос медицинский архив министерства обороны? Лежал батько в госпитале легкого ранения, и располагался тот госпиталь в сочинском санатории. Это как надо кормить, чтоб в госпитале-санатории вогнать человека в смерть от истощения? Кому ни скажи, не верят... В санатории сгас от истощения?! И смотри... Изничтожили человека и — молчок. Девять месяцев ничего не сообщали Поле. Брат отца, Иван Андреевич, стал разыскивать Никишу, и Ивану Андреевичу ответили, что «стрелок — красноармеец умер от болезни 16 марта 1943 года... Похоронен в городе Сочи...»

— Я тут же написал в сочинский архив. И мне ответили, что «в списках воинов, умерших от ран и захороненных на Завокзальном кладбище г. Сочи, значится под № 923 рядовой Санжаровский Никифор Андреевич, дата смерти 16.03.43 г.» Вот я и встретился с папой на мемориале. Через полвека после разлуки... Снялся у стелы, где золотом выбито и имя отца. Вот посмотрите...

Тетушка долго смотрела молча на карточку и, горько покачав головой, в печали продолжала:

— Ох и хлебнула горюшка моя сестричка Поля... А Гриша?... Больше тридцати лет казнились в одной комнатешке аварийного сарая-засыпушки! Даже законом запрещено жить в одной комнате разнополым. А они жили-гнили... Все, конечно, им постоянно сулили новое жилье. И дали-таки новое «жилье». Тилько на кладбище... Не дожили они до своего порядочного угла... А за шо Гришу выпихнули с третьего институтского курса? А с Митей шо утворяли? Почему его с красным техникумовским дипломом даже не подпустили к институту? А потомушки... Как старался в работе хлопचाга... Возвели до директора на маслозаводе. А чего через год какой знову сдернули в механики на том же заводешке?

Я слушал тетю и цепенел. Почему я раньше сам в причины всего этого не влезал? Да и как я мог влезать, если не знал корней этих зол?... Да я и сам... В далекие шестидесятые я три года крутился редактором в редакции промышленно-экономической информации ТАСС. В центральном аппарате... По ходатайству ТАССа мне, не имевшему своего угла, кинули клетуху за выездом. Но тут же ходатайство было отозвано без объяснения мне причины, и я завис на бобах. Да и из самого ТАССа неужто меня не выдавили?..

Клеймо репрессированного душило меня шестьдесят два года. Не поэтому ли книги мои не спешили издавать? Мне было уже сорок семь, когда у меня вышла в московском издательстве «Молодая гвардия» первая книжка, и та не толще мизинца. Было это в 1985-м. На закате советской власти. И только уже после ее падения, после моей реабилитации в 1996-м, дело пошло на поправку... Стало выходить мое первое собрание сочинений...

Ну да разве эти истории папы, мамы, братьев, мои не печали одного мотива? Все это случайности? И не сливались ли они в один узелок еще с чумовых тридцатых, сразу после раскулачивания моих родителей?

— Теть Нюру, — прошептал я, — а за что нас кулачили?

— А за то, шо в колхоз не захотели вписаться. Объявили кулаками и отобрали дом, четыре пары быков, две лошади, две коровы, восемь овец, две шубы... Все отняли. Дом забрали... А ваши куликали в землянушке в своем же дворе... Ты, Толик, вторую бумажку внимательно читал? Никиша... Смелюга-таки був! Разом со своим батьком отбывал первую высылку на Урале. До срока сбежал с высылки. Самоволко занял свою кухню. Свое взял!.. А колхоз «Безбожник» орет: «Я заплатил за нее сельсовету 500 рубляков! М-моя!» Безбожный был бандюга той колхоз!.. Не побоявся, написал Никиша в Москву, в «Крестьянскую газету», шо не по правде наказали всех наших... не по правде отняли все у наших вплоть до путающей одежды... Отнять отняли, но никакой бумаги о том, что взяли, не дали. И вышло, ограбила власть несчастную неграмотную семью. И через любые суды никогда не вернешь отнятого ни на копейку... Да... Шайка-лейка одна була, шо в Калаче, шо в Москви... Доищись горькой правдоньки... Однако.. Вишь, с газетой повязан Никиша... Як и ты... Одна кровь, одни стежки... Не от батька ли пала к тебе страсть к газете?

— Гм...

— Правдоньку Никиша искал... Захотел правды знайти... Думаешь, узятый дом в дело произвели? Разобрали и за селом скулемали хатынку для овчаров. Овчары перепились та сожгли ее. А ваши, в повтор заеду, с малыми детьми бедовали в землянке на своем же подворье... Время, як и вода: все идет вперед. В тридцать четвертом их сослали за Полярный кружок, на лесопильню в Ковде. Через пять лет перегнали у малярийную Грузинию. Корчевать леса да разводить чайные плантации. Рабская работа... Били и плакать не давали...

— В тридцать четвертом... Выходит, за четыре года до рождения я был репрессирован за компанию вместе с родителями. Чем я, еще незачатый, тогда уже провинился перед дорогой советской властью? Брат Григорий был наказан за год до появления на свет. Брат Дмитрий — в возрасте двух лет. Вы можете объяснить, в чем же наша вина? Можете?..

— Не могу, Толик... Не могу... По слухам, в тридцатые плач-годы був такой тайный порядок... Если родители объявлялись врагами народа, то и их дети, даже еще не родившиеся, автоматом становились тоже врагами народа. Во така жуть бигает в народе... Как это понять по уму?.. По сердцу?..

НОВАЯ КРИУША — СТОЛИЦА НАШЕЙ СЕМЬИ

С вечера тетя Нюра напекла пирожков, и на рани утром я поехал автобусом в Новую Криушу.

Новая Криуша...

Родовое гнездо...

Столица нашей семьи.

Иду по солнечной Ниструговке, помнившей моих молодых родителей. За плетнями август радостно хвалился сказкиным урожаем тыкв.

Полсела — Санжаровские!

Чудно как-то...

Я похож на них.

Они похожи в мою сторону. Доброта тоскует в лицах...

Санжаровские живут здесь, в Новой Криуше, не век и не два. Дедуш-

ка с бабушкой по отцовой линии здесь родились. Андрей Дмитриевич — в 1872 году. Татьяна Григорьевна — в 1874-м. Четвертого февраля 1908 года нашелся Никифор. Детей всего было восемь душ.

Было у этой семьи прочное, крепкое хозяйство.

Санжары — великие трудари. В Новой Криуше они жили на Нистру-говке. По улице их звали Головки. Головастые значит!

По обычаю, апрельским утром Никиша пел в хоре церкви Спаса Преображения. С клироса он увидел Пелагию Долженкову. Сама Поленька была из соседнего хуторка Собацкого. А в Новой Криуше гостила у тетушки.

Молодые познакомились и через полгода поженились. Навсегда Поля переехала в Новую Криушу. Она была младше Никиши всего на год. И родители ее, Михаил Алексеевич и Александра Митрофановна (родом она из села Манина), были почти ровесниками с родителями Никиши.

Я давно все рвался хоть разок съездить в Новую Криушу. Да мама отговаривала.

И только тут, в Криуше, я понял, почему она это делала.

Мой дед по отцу, Андрей Дмитриевич, по характеристике сельсовета, «политически неблагонадежный», был лишен права голоса. Этот упрямистый казачара, в десятом колене выскочивший из вольных казачьих кровей, не вписался в «Красную дурь», как навеличивали криушане свой колхоз «Красная заря».

— Не пойду и все. Ну, хучь режьте!

Его не стали резать. Объявили кулаком.

А подпихнула, ускорила арест одна историйка...

По заведенному обычаю, бешеные налоги выдирали у тех, кто не пошел в колхоз, только ночами. И вот однажды вломак вваливается в три ночи сельский активистик с дальнего угла Криуши Ваня Сарана, он же Саранча. Так-то по бумагам Ваня пишется Толмачевым. А уже улица приварила ему Сарану-Саранчу. Потомушко как Ваня оказался побочным шальным творением погорячливого соседа Саранчина.

Вошел Ваня в дом к Санжаровским, увидел у печи на жердочке верблужий шелковый платочек и сразу хватя его.

— Что ж ты, грабитель, пакость головастая, внагляк отымаешь у сироты-малютки последний платок?! — вскипел дед и, не растерявшись, ухватил платок с другого конца и вырвал его. — Иля не знаешь?.. Только ж полгодочка как отошла хозяйка моя Татьяна Григорьевна?

— Ну... Отошла и отошла... Ворочать не побегим, — пробубнил Саранча, сраженный ловкостью деда. — Я при исполнении! А ты из рук у меня выдирать? В колхоз не вписываешься да еще кулаками махаешься? Думаешь, с нашим умом тут не разберемся? Не твой нонче день... Ничо-о... ОГПУ⁵ тебе клеит! Я тебе такой устрою звон московских колоколов! Кровьями зальешься!

Саранча тут же побежал в сельсовет, накрутил заявление, что такой-то «показал жестокую сопротивлению против самой дорогой Советской властьюшки при исполнении».

И через два часа зевающий конвой погнал деда во мглу рассвета.

⁵ ОГПУ — объединенное государственное политическое управление. В народе ОГПУ расшифровывалось так: «О Господи! Помоги Убежать». Расшифровывалось и с конца: «Убежишь — Поймаем, Голову Оторвем».

На суде «тройки» деда только спросили:

— Богу веруешь?

— Да.

— Хорошо. Не хочешь вступать в колхоз — три года тебе. Иди.

Вот и весь минутный «суд». Дали деду три года. На размышление. И чтоб не мешали ни домашние, ни соседи, послали на перековку аж в уральский концлагерь. Там у каких-то военных он обихаживал семь коров. Сам кормил, сам доил... Он и дома доил коров. Головки — уличное прозвище — головастые трудолюбивики!

Вернулся дед.

Опять в Криюше клинки подбивают:

— Снова не пойдешь до нас у колхоз? Иля одумался?

— Утвердился! Невжель я мешком прибитый?

Теперь незаконно репрессировали уже всех Санжаровских. За что? За отсутствие улик? Точно сказал сатирик: «За что судили тех, у кого не было улик? За их отсутствие».

И уже целые семьи и деда, и отца ночью вытолкали с родной воронежской сторонки за Полярный круг. На лесороботы.

А деду настукивал седьмой десяток.

А у отца с матерью было двое маленьких сынов — Митя и Гриша.

Все родовое наше гнездо в Новой Криюше разорили «неутомимые борцы за всенародное счастье на века». Кулачье же! А у деда, у отца не было даже теплых одеял. Укрывались самодельными дерюжками. Никаких работников не держали.

В месте ссылки нашей семьи, в заполярном селе Ковда, что прижались к бережку Кандалакшского залива, я и родился в субботу десятого сентября 1938 года.

Выскочил я на свет и стандартным криком о том оповестил мир.

Оповестить-то оповестил, да вовсе и не подозревал по легкомыслию, что я уже четыре года как репрессированный. Родители удостоились этой чести еще в Криюше в 1934 году. Выходит, за компанию и меня покарали тогда же? Досрочно! Став на очередную вахту в честь очередной годовщины Октября? Наказали за че-ты-ре года до рождения?!

Ковдяна — крекали...

Крекаль... Этим прозвищем награждался всяк житель Ковды. А вообще крекаль, крохаль — водоплавающая птица утиноного фасона. В промозглой заполярной Ковде родители — они были чернорабочими — ишачили на лесопильном заводе.

Отмотали наши северный срок, ан подают на блюдечке с каемочкой жужный. И семья выкатилась в Западную Грузию. Это сейчас уже заграница.

А тогда под гнилыми, малярийными дождями родительцы корчевали на косогорах леса. Разводили в совхозе «Насакиральский» чайные плантации. Потом работали на них.

Выходных там не было.

В Криюше я разыскал из наших бабушку Анисью.

Это старшая сестра моего папы. Когда-то бабунюшка была хорошей подружкой моей мамы.

Бабушке Анисье было уже за девяносто. На августовском солнцезоге она сидела на крыльце в фуфайке, в валенках и ежилась от холода.

— Саша! — позвала она сына. — Повези покажи мил Толюшке Никифорово подворье.

И первый раз в жизни проехался я вихрем на повозке, запряженной двумя рысаками. Я попросил Сашу уехать, и я один остался на родительской земле.

Вечерело.

Бесноватый ветер носился по одичалой пустой полоске земли, упирался одним концом в меловый бугор, а другим в берег камышовой речушки Криуши. Когда-то здесь росли вишни, груши, яблони, картошка. Теперь это был пустырь, тесно забитый лопухом, сурепкой, калачиком, незабудкой (жабьими очками), полынью.

Распятая родительская земля... Моя распятая земля...

В стакан, взятый у тетушки, я набрал для памяти этой черной земли с отцова печального подворья.

Лютые советы варварски убивали деревню... Когда-то в Криуше жило более десяти тысяч человек. Теперь и двух тысяч не наскрести... Ретивым колхозостроителям мало было уничтожить Род Великих Тружеников. Наказали и их Землю.

Людей с нее согнали. Но сам участок — *бросили*.

И лежит эта земля распятым трупом уже многие десятилетия, и жируют-бесятся на ней лишь сорные травы.

Вот этого-то, наверно, мама и не хотела, чтоб я увидел. Потому и отговаривала меня от поездки в Новую Криушу. Вечный страх быть снова ни за что наказанной заставлял ее таиться, молчать. Всю жизнь, шестьдесят один год, скрывала от своих трех сыновей, что мы «кулаки». Хотела, чтоб хоть нам жилось спокойней.

И кто осудит ее за это?

Воистину, «колесо истории не приспособлено к нашим дорогам».

Солнце уже садилось в тучу.

Подталкиваемый ветром я побрел через речушку Криушу, запутавшуюся в камышах, к церкви, где когда-то познакомились, а потом и венчались мои родители.

Сейчас в полуразрушенной, загаженной церкви без крыши стонали голуби в выбитых окнах.

Долго стоял я у стелы Памяти с именами погибших в войну новокриушанцев. Было на стеле и имя моего отца...

На фронт ушло 850 мужчин. Погибли 378...

Я не стал ждать на остановке автобуса.

Пошел в Калач пешком.

Поднялся на бугор, с которого мама всматривалась в ночную Криушу... Снизу, казалось, мне прощально в печали махала под ветром дымами родная Криуша.

Я шел и не смел отвернуться от нее.

Я шел спиной к городу.

Но вот я сделал шаг, и Криуша пропала с виду.

Я онемел.

И тут же снова сделал шаг вперед, и горькая Криуша снова открылась мне. Я стоял и смотрел на нее, пока совсем не стемнело.

И лишь тогда побрел в кромешной тьме к городу...